Максим Горький

Емельян Пиляй

Максим Алексеевич Горький
Емельян Пиляй

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=135587
М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах: Государственное издательство художественной литературы; Москва; 1949

Аннотация

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1893, номер 213, 5 августа. Рассказ был передан редакции «Русских ведомостей» без ведома А.М.Горького его товарищем Н.З.Васильевым. Опубликование «Емельяна Пиляя» в «Русских ведомостях» было первым выступлением Горького в столичной прессе. Рассказ включался во все собрания сочинений. Печатается по тексту, подготовленному М.Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

Максим Горький
Емельян Пиляй

– Ничего больше не остаётся делать, как идти на соль! Солона эта проклятущая работа, а всё ж таки надо взяться, потому что этак-то, не ровен час, и с голоду подохнешь.

Проговорив это, мой товарищ Емельян Пиляй в десятый раз вынул из кармана кисет и, убедившись, что он так же пуст, как был пуст и вчера, вздохнул, сплюнул и, повернувшись на спину, посвистывая, стал смотреть на безоблачное, дышавшее зноем небо. Мы с ним, голодные, лежали на песчаной косе верстах в трёх от Одессы, откуда ушли, не найдя работы. Емельян протянулся на песке головой в степь и ногами к морю, и волны, набегая на берег и мягко шумя, мыли его голые и грязные ноги. Жмурясь от солнца, он то потягивался, как кот, то сдвигался ниже к морю, и тогда волна окатывала его чуть не до плеч. Это ему нравилось. Я взглянул в сторону гавани, где возвышался лес мачт, окутанных клубами тяжёлого чёрно-сизого дыма, оттуда плыл глухой шум якорных цепей, свист локомотивов. Я не усмотрел там ничего, что бы возродило нашу угасшую надежду на заработок, и, вставая на ноги, сказал Емельяну:

– Ну что ж, идём на соль!

– Так… иди!.. А ты сладишь? – вопросительно протянул

он, не глядя на меня.

– Там увидим.

– Так, значит, идём? – не шевеля ни одним членом, повторил Емельян.

– Ну конечно!

– Ага! Что ж, это дело… пойдём! А эта проклятая Одесса – пусть её черти проглотят! – останется тут, где она и есть. Портовый город! Чтоб те провалиться сквозь землю!

– Ладно, вставай и пойдём; руганью не поможешь.

– Куда пойдём? Это на соль-то?.. Так. Только вот видишь ли, братику, на соли этой тоже толку не будет, хоть мы и пойдём.

– Да ведь ты же говорил, что нужно туда идти.

– Это верно, я говорил. Что я говорил, так говорил; уж я от своих слов не откажусь. А только не будет толку, это тоже верно.

– Да почему?

– Почему? А ты думаешь, что там нас дожидаются, дескать, пожалуйста, господа Емельян да Максим, сделайте милость, ломайте ваши кости, получайте наши гроши!.. Ну нет, так не бывает! Дело стоит вот как: теперь ты и я – полные хозяева наших шкур…

– Ну ладно, будет! Пойдём!

– Погоди! Должны мы пойти к господину заведывающему этою самою солью и сказать ему со всем нашим почтением: «Милостивый господин, многоуважаемый грабитель и

кровопийца, вот мы пришли предложить вашему живоглотию наши шкуры, не благоугодно ли вам будет содрать их за шестьдесят копеек в суточки!» И тогда последует…

– Ну вот что, ты вставай и пойдём. До вечера придём к рыбацким заводам, поможем выбрать невод – накормят ужином, может быть.

– Ужином? Это справедливо. Они накормят; рыбачки народ хороший. Пойдём, пойдём… Но уж толку, братец ты мой, мы с тобой не отыщем, потому – незадача нам с тобой всю неделю, да и всё тут.

Он встал, весь мокрый, потянулся и, засунув руки в карманы штанов, сшитых им из двух мучных мешков, пошарил там и юмористически оглядел пустые руки, вынув их и поднеся к лицу.

– Ничего!.. Четвёртый день ищу, и всё – ничего! Дела, братец ты мой!

Мы пошли берегом, изредка перекидываясь друг с другом замечаниями. Ноги вязли в мягком песке, перемешанном с раковинами, мелодично шуршавшими от мягких ударов набегавших волн. Изредка попадались выброшенные волной студенистые медузы, рыбки, куски дерева странной формы, намокшие и чёрные… С моря набегал славный свежий ветерок, опахивал нас прохладой и летел в степь, вздымая маленькие вихри песчаной пыли. Емельян, всегда весёлый, видимо унывал, и я, замечая это, стал пытаться развлечь его.

– Ну-ка, Емеля, расскажи что-нибудь!

– Рассказал бы я тебе, брат, да говорилка слаба стала, потому – брюхо пустует.

Брюхо в человеке – главное дело, и какого хочешь урода найди – а без брюха не найдёшь, дудки! А как брюхо покойно, значит, и душа жива; всякое деяние человеческое от брюха происходит…

Он помолчал.

– Эх, брат, коли бы теперь тысячу рублей море мне швырнуло – бац! Сейчас открыл бы кабак; тебя в приказчики, сам устроил бы под стойкой постель и прямо из бочонка в рот себе трубку провёл. Чуть захотелось испить от источника веселия и радости, сейчас я тебе команду «Максим, отверни кран!» – и буль-буль-буль – прямо в горло. Глотай, Емеля! Хо-оро-шее дело, бес меня удави! А мужика бы этого, чернозёмного барина – ух ты! – грабь – дери шкуру!., выворачивай наизнанку. Придёт опохмеляться: «Емельян Павлыч! дай в долг стаканчик!» – «А?.. Что?.. В долг?! Не дам в долг!» – «Емельян Павлыч, будь милосерд!» – «Изволь, буду: вези телегу, шкалик дам». Ха-ха-ха! Я бы его, чёрта тугопузого, пронзил!

– Ну, что уж ты так жестоко! Смотри-ка – вон он голодает, мужик-то.

– Как-с? Голодает?.. А я не голодаю? Я, братец ты мой, со дня моего рождения голодаю, а этого в законе не писано. Н-да-с! Он голодает – почему? Неурожай? У него сначала в башке неурожай, а потом уже на поле, вот что! Поче-

му в других-прочих империях неурожая нет?! Потому, что там у людей головы не затем приделаны, чтоб можно было в затылке скрести; там думают, – вот что! Там, брат ты мой, дождь можно отложить до завтра, коли он сегодня не нужен, и солнце можно на задний план отодвинуть, коли оно слишком усердствует. А у нас какие свои меры есть? Никаких мер, братец ты мой… Нет, это что! Это всё шутки. А вот кабы действительно тысячу рублей и кабак, это бы дело серьёзное…

Он замолчал и по привычке полез за кисетом, вынул его, выворотил наизнанку, посмотрел и, зло плюнув, бросил в море.

Волна подхватила грязный мешочек, понесла было его от берега, но, рассмотрев этот дар, негодующе выбросила снова на берег.

– Не берёшь? Врёшь, возьмёшь! – Схватив мокрый кисет, Емельян сунул в него камень и, размахнувшись, бросил далеко в море.

Я засмеялся.

– Ну, что ты скалишь зубы-то?.. Люди тоже! Читает книжки, с собой их носит даже, а понимать человека не умеет! Кикимора четырёхглазая! Это относилось ко мне, и по тому, что Емельян назвал меня четырёхглазой кикиморой, я заключил, что степень его раздражения против меня очень сильна: он только в моменты острой злобы и ненависти ко всему существующему позволял себе смеяться над моими

очками; вообще же это невольное украшение придавало мне в его глазах столько веса и значения, что в первые дни знакомства он не мог обращаться ко мне иначе, как на «вы» и тоном, полным почтения, несмотря на то, что я в паре с ним грузил уголь на какой-то румынский пароход и весь, так же как и он, был оборван, исцарапан и чёрен, как сатана.

Я извинился перед ним и, желая его успокоить до некоторой степени, начал рассказывать о заграничных империях, пытаясь доказать ему, что его сведения об управлении облаками и солнцем относятся к области мифов.

– Ишь ты!.. Вот как!.. Ну!.. Так, так… – вставлял он изредка; но я чувствовал, что интерес его к заграничным империям и ходу жизни в них невелик против обыкновения, – Емельян почти не слушал меня, упрямо глядя в даль перед собою.

– Всё это так, – перебил он меня, неопределённо махнув рукою. – А вот что я тебя спрошу: ежели бы нам навстречу теперь попался человек с деньгами, и большими деньгами, – подчеркнул он, мельком заглянув сбоку под мои очки, – так ты как бы, ради приобретения шкуре твоей всякого атрибуту, – укокошил бы его?

– Нет, конечно, – отвечал я. – Никто не имеет права покупать своё счастье ценою жизни другого человека.

– Угу! Да… Это в книжках сказано дельно, но только для ради совести, а на самом-то деле тот самый барин, что первый такие слова придумал, кабы ему туго пришлось, – на-

верняка бы при удобном случае, для сохранности своей, кого-нибудь обездушил. Права! Вот они, права!

У моего носа красовался внушительный жилистый кулак Емельяна.

– И всяк человек – только разным способом – всегда этим правом руководствуется. Права тоже!..

Емельян нахмурился, спрятав глаза глубоко под брови, длинные и выцветшие.

Я молчал, зная по опыту, что, когда он зол, возражать ему бесполезно.

Он швырнул в море попавшийся под ногу кусок дерева и, вздохнув, проговорил:

– Покурить бы теперь…

Взглянув направо в степь, я увидел двух чабанов, лежащих на земле, глядя на нас.

– Здорово, панове! – окликнул их Емельян, – а нет ли у вас табаку?

Один из чабанов повернул голову к другому, выплюнул изо рта изжёванную им былинку и лениво проговорил:

– Табаку просят, э, Михал?

Михаил взглянул на небо, очевидно испрашивая у него разрешения заговорить с нами, и обернулся к нам.

– Здравствуйте! – сказал он, – где ж вы идете?

– К Очакову на соль.

– Эге!

Мы молчали, располагаясь около них на земле.

– А ну, Никита, подбери кишеню, чтоб её галки не склевали.

Никита хитро улыбнулся в ус и подобрал кишеню. Емельян скрипел зубами.

– Так вам табаку надо?

– Давно не курили, – сказал я.

– Что ж так? А вы бы покурили.

– Гей ты, чёртов хохол! Цыц! Давай, коли хочешь дать, а не смейся! Выродок!

Аль потерял душу-то, шляясь по степи? Двину вот по башке, и не пикнешь! – гаркнул Емельян, вращая белками глаз.

Чабаны дрогнули и вскочили, взявшись за свои длинные палки и став плотно друг к другу.

– Эге, братики, вот как вы просите!.. а ну, что ж, идите!..

Чёртовы хохлы хотели драться, в чём у меня не было ни малейшего сомнения.

Емельян, судя по его сжатым кулакам и горевшим диким огнём глазам, тоже был не прочь от драки. Я не имел охоты участвовать в баталии и попытался примирить стороны.

– Стойте, братцы! Товарищ погорячился – не беда ведь! А вы вот что – дайте, коли не жаль, табаку, и мы пойдём себе своей дорогой.

Михаил взглянул на Никиту, Никита – на Михаила, и оба усмехнулись.

– Так бы сразу и сказать вам!

Затем Михаил полез в карман свиты, выволок оттуда объёмистый кисет и протянул мне.

– А ну, забери табаку!

Никита сунул руку в кишеню и затем протянул её мне с большим хлебом и куском сала, щедро посыпанным солью. Я взял. Михаил усмехнулся и подсыпал ещё мне табаку.

Никита буркнул:

– Прощайте!

Я поблагодарил.

Емельян угрюмо опустился на землю и довольно громко прошипел:

– Чёртовы свиньи!

Хохлы пошли в глубь степи тяжёлым развалистым шагом, поминутно оглядываясь на нас. Мы сели на землю и, не обращая более на них внимания, стали есть вкусный полубелый хлеб с салом. Емельян громко чавкал, сопел и почему-то старательно избегал моих взглядов.

Вечерело. Вдали над морем родился мрак и плыл над ним, покрывая голубоватой мутью мелкую зыбь. На краю моря поднялась гряда жёлто-лиловых облаков, окаймлённых розовым золотом, и, ещё более сгущая мрак, плыла на степь. А в степи, там, далеко-далеко на краю её, раскинулся громадный пурпуровый веер лучей заката и красил землю и небо так мягко и нежно. Волны бились о берег, море – тут розоватое, там тёмно-синее – было дивно красиво и мощно.

– Теперь покурим! Чёрт вас, хохлов, растаскай! – И, по-

кончив с хохлами, Емельян свободно вздохнул. – Мы дальше пойдём или тут заночуем?

Мне было лень идти дальше.

– Заночуем! – решил я.

– Ну и заночуем. – И он растянулся на земле, разглядывая небо.

Емельян курил и поплёвывал; я смотрел кругом, наслаждаясь дивной картиной вечера. По степи звучно плыл монотонный плеск волн о берег.

– А клюнуть денежного человека по башке – что ни говори – приятно; особенно ежели умеючи дело обставить, – неожиданно проговорил Емельян.

– Будет тебе болтать, – сказал я.

– Болтать?! Чего тут болтать! Это дело будет сделано, верь моей совести!

Сорок семь лет мне, и лет двадцать я над этой операцией голову ломаю. Какая моя жизнь? Собачья жизнь. Нет ни конуры, ни куска, – хуже собачьей! Человек я разве? Нет, брат, не человек, а хуже червя и зверя! Кто может меня понимать? Никто не может! А ежели я знаю, что люди могут хорошо жить, то – почему же мне не жить? Э? Чёрт вас возьми, дьяволы!

Он вдруг повернулся ко мне лицом и быстро проговорил:

– Знаешь, однажды я чуть-чуть было не того… да не удалось малость… будь я, анафема, проклят, дурак был, жалел. Хочешь, расскажу?

Я торопливо изъявил своё согласие, и Емельян, закурив, начал:

«Было это, братец ты мой, в Полтаве… лет восемь тому назад. Жил я в приказчиках у одного купца, лесом он торговал. Жил с год ничего себе, гладко; потом вдруг запил, пропил рублей шестьдесят хозяйских. Судили меня за это, законопатили в арестантские роты на три месяца и прочее такое – по положению. Вышел я, отсидев срок, – куда теперь? В городе знают; в другой перебраться не с чем и не в чем. Пошёл к одному знакомому тёмному человечку; кабак он держал и воровские дела завершал, укрывая разных молодчиков и их делишки. Малый хорошей души, честнеющий на диво и с умной головой. Книжник был большой, многое множество читал и имел очень большое понятие о жизни. Так я, значит, к нему: „А ну, мол, Павел Петров, вызволи!“ – „Ну что ж, говорит, можно! Человек человеку, – коли они одной масти, – помогать должен. Живи, пей, ешь, присматривайся“. Умная башка, братец ты мой, этот Павел Петров! Я к нему имел большое уважение, и он меня тоже очень любил. Бывало, днём сидит он за стойкой и читает книгу о французских разбойниках – у него все книги были о разбойниках, слушаешь, слушаешь… дивные ребята были, дивные дела делали – и непременно проваливались с треском. Уж, кажется, голова и руки – ах ты мне! а в конце книги вдруг – под суд – цап! и баста! всё прахом пошло.

Сижу я у этого Павла Петрова месяц и другой, слушая его

чтение и разные разговоры. И смотрю – ходят тёмные молодчики, носят светлые вещички: часики, браслеты и прочее такое, и вижу – толку на грош нет во всех их операциях. Слямзит вещь – Павел Петров даст за неё половину цены, – он, брат, честно платил, – сейчас гей! давай!.. Пир, шик, крик, и – ничего не осталось! Плёвое дело, братец ты мой! То один попадёт под суд, то другой угодит туда же…

Из-за каких таких важных причин? По подозрению в краже со взломом, причём украдено на сто рублей! – Сто рублей! Разве человеческая жизнь сто рублей стоит? Дубьё!.. Вот я и говорю Павлу Петрову:

«– Всё это, Павел Петров, глупо и не заслуживает приложения рук.» – «Гм! как тебе сказать? – говорит. – С одной, говорит, стороны, курочка по зёрнышку клюёт, а с другой – действительно, во всех делах у людей уважения к себе нет; вот в чём суть! Разве, говорит, человек, понимающий себе цену, позволит свою руку пачкать кражею двугривенного со взломом?! Ни в каком разе! Теперь, говорит, хоть бы я, человек, прикосновенный моим умом к образованию Европы, я продам себя за сто рублей?». И начинает он мне показывать на примерах, как должен поступать понимающий себя человек. Долго мы говорили в таком роде. Потом я говорю ему: «Давно, мол, у меня, Павел Петров, есть в мыслях попытать счастья, и вот, мол, вы, человек опытный в жизни, помогите мне советом, как, значит, и что». – «Гм! – говорит – это можно! А не оборудовать ли тебе какое ни то дельце

на свой риск и по своему расчёту, без помочей? Так, например… Обаимов-то – говорит – с лесного двора через Ворсклу в единственном числе на беговых возвращается; а как тебе известно, при нём всегда есть деньжонки, на лесном от приказчика он получает выручку. Выручка недельная; в день торгуют они на три сотни и больше. Что ты можешь на это сказать?» Я задумался. Обаимов – это тот самый купец, у которого я служил в приказчиках. Дело – дважды хорошее: и отместка ему за поступок со мной, и смачный кусок урвать можно. «Нужно обмозговать», – говорю. «Не без этого», – отвечает Павел Петров».

Он замолчал и медленно стал вертеть папироску. Закат почти угас, только маленькая розовая лента, с каждой секундой всё более бледнея, чуть окрашивала край пухового облака, точно в истоме неподвижно застывшего в потемневшем небе. В степи было так тихо, грустно, и непрерывно лившийся с моря ласковый плеск волн как-то ещё более оттенял своим монотонным и мягким звуком эту грусть и тишину. Над морем, одна за другой, ярко вспыхивали звёздочки, такие чистенькие, новенькие, точно вчера только сделанные для украшения бархатного южного неба.

«Н-да, браток, покумекал я над этим делом и в ту же ночь в кусты около Ворсклы залёг, имея с собой шкворень железный фунтов семи весом. Дело-то было в октябре, помню – в конце. Ночь – самая подходящая: темно, как в душе человеческой… Место – лучше желать не надо. Сейчас тут мост, и

на самом съезде с него доски выбиты, – значит, поедет шагом. Лежу, жду. Злобы, брат ты мой, в ту пору у меня хватило бы хоть на десять купцов. И так я себе это дело просто представил, что проще и нельзя: стук! – и баста!.. Н-да!.. Так вот и лежу, знаешь, и всё у меня готово. Раз! – и получи денежки. Так-то. Бац! – значит, – и всё тут!

«Ты, может, думаешь, что человек в себе волен? Дудки, браток! Расскажи-ка мне, что ты завтра сделаешь? Ерунда! Никак ты не можешь сказать, направо или налево пойдёшь завтра. Лежал я и ждал одного, а вышло совсем не то. Совсем несообразное дело вышло!

Вижу: от города идёт кто-то – пьяный как будто, шатается, в руках палка. Бормочет что-то; нескладно бормочет и плачет, – всхлипывает… Ещё ближе подошёл, смотрю – баба! Тьфу тебе, треклятая! Намылю шею, думаю, подойди-ка. А она идёт к мосту прямо и вдруг как крикнет: «Милый, за что?!» Ну, брат, и крикнула! Я так и вздрогнул. «Что за притча?» – думаю. А она прямо на меня. Лежу, прижался к земле, дрожу весь – куда моя злоба девалась! Вот-вот налезет, ногой наступит сейчас! А она опять как завопит: «За что?! за что?!» – и бух наземь, как стояла, почти рядом со мной. И заревела она тут, братец ты мой, так, что я и сказать тебе не могу, – сердце рвалось, слушая. Лежу, однако, ни гугу. А она ревёт. Тоска меня взяла. Убегу, думаю себе, прочь! А тут месяц вышел из тучи, да таково ясно и светло, просто страх. Приподнялся я на локоть и глянул на неё… И тут,

брат, всё и пошло прахом, все мои планы и полетели к чертям! Смотрю – так сердце и ёкнуло: ма-аленькая девчоночка, дитё совсем – беленькая, кудряшки на щёчках, глазёнки большие такие – смотрят так… и плечики дрожат-дрожат, а из глаз-то слёзы крупнущие одна за другой так и бегут, и бегут.

«Жалость меня, брат ты мой, забрала. Вот я, значит, и давай кашлять: „Кхе! кхе! кхе!“ Как она крикнет: „Кто это? Кто? Кто тут?!“ Испугалась, значит… Ну, я сейчас тово… на ноги встал и говорю: „Это, мол, я“. – „Кто вы?“ – говорит. А глаза-то у самой во какие сделались, и вся так, как студень, дрожит. „Кто вы?“ – говорит».

Он засмеялся.

«Кто я-то, мол? Вы прежде всего не бойтесь меня, барышня, – я вам худа не сделаю. Я – так себе человек, из босой команды, мол, я». Да. Соврал, значит, ей; не говорить же ведь, чудак ты, что я, мол, купца убить залёг тут! А она мне в ответ: «Всё, говорит, мне равно, я топиться пришла сюда». И так это она сказала, что меня аж озноб взял – серьёзно уж очень, братец ты мой. Ну, что тут делать?»

Емельян сокрушённо развёл руками и смотрел на меня, широко и добродушно улыбаясь.

«И вдруг тут. братец ты мой, заговорил я. О чём заговорил – не знаю; но так заговорил, что аж сам себя заслушался, больше всё насчёт того, что она молодая и такая красавица. А что она красавица, так это уж так, то есть – раскрасавица!

Эх ты, брат ты мой! Ну уж! А звали Лизой. Так вот я, значит, и говорю; а что – кто его знает – что? Сердце говорило. Да! А она всё смотрит, серьёзно так и пристально, и вдруг как улыбнётся!..» – заорал Емельян на всю степь со слезами в голосе и на глазах и потрясая в воздухе сжатыми кулаками.

«Как улыбнулась, так я и растаял; хлоп перед ней на колени: „Барышня, говорю, барышня! – и всё тут! А она, братец ты мой, взяла меня за голову руками, глядит мне в лицо и улыбается, как на картине; шевелит губами – сказать хочет что-то; а потом осилилась и говорит: „Милый вы мой, вы тоже несчастный, как и я! Да? Скажите, хороший мои!“ Н-да, друг ты мой, вот оно что! Да не всё ещё, а и поцеловала она меня тут в лоб, брат, – вот как! Чуешь? Ей-богу! Эх ты, голубь! Знаешь, лучше этого у меня в жизни-то за все сорок семь лет ничего не было! А?! То-то! А зачем я пошёл? Эх ты, жизнь!..“

Он замолчал, кинув голову на руки. Подавленный странностью рассказа, я молчал и смотрел на море, похожее на чью-то громадную грудь, ровно и глубоко дышавшую в крепком сне.

«Ну, а потом она встаёт и говорит мне: „Проводите меня домой“. Пошли мы. Я иду – ног под собой не чую, а она мне всё рассказывает, как и что. Понимаешь ты, она одна дочь была у родителей, купцы они, – ну, и того, значит, балованная; а потом тут студент приехал и стал, значит, её там учить, и влюбились они друг в друга. Он потом уехал, а она стала

его ждать – как, дескать, кончит там свою науку, чтобы приехать венчаться; уговор у них такой был. А он не приехал, а послал ей письмо: дескать, ты мне не пара. Девке, конечно, обидно. Вот она было и того, значит… Ну, рассказывает она это мне, и дошли мы таким манером с ней до дома, где она жила. „Ну, говорит, голубчик, прощайте! Завтра я, говорит, уеду отсюда. Вам денег, может быть, надо? Скажите, не стесняйтесь“. – „Нет, говорю, барышня, не надо, спасибо вам!“ – „Ну, добрый вы мой, не стесняйтесь, скажите, возьмите!“ – пристаёт она. А я такой оборванный был, однако говорю: „Не надо, барышня“. Знаешь, брат, как-то не до того было, не до денег. Простились мы с ней. Она так ласково говорит: „Никогда-де я не забуду тебя; совсем, дескать, ты чужой человек, а такой мне…“ Ну, это наплевать», – оборвал Емельян, снова принимаясь закуривать.

«Ушла она, Сел я на скамью у ворот. Грустно мне стало. Ночной сторож идёт. „Ты, говорит, чего тут торчишь, али слямзить хочешь чего ни то?“ Крепко эти самые слова взяли меня за сердце! Я его в морду – рраз! Крик, свист… в часть! Ну что ж, в часть так в часть, вали хоть во всю целую – мне всё равно; я как двину его снова! Сел на лавочку и бежать не хотел. Ночевал; поутру отпустили. Иду к Павлу Петрову. „Где погуливал?“ – спрашивает, усмехаясь. Поглядел я на него – человек, как и вчера; но как будто что-то новое вижу. Ну, конечно, рассказал ему всё, как и что. Слушал он серьёзно таково, а потом сказал мне: „Вы, говорит Еме-

льян Павлыч, – дурак и болван; и не угодно ли, говорит, вам убраться вон!“ – Ну, что ж тут? Али он не прав? Я ушёл, и всё тут. – Так-то вот было дельце, браток!»

Он замолчал и растянулся на земле, закинув руки под голову и глядя на небо – бархатное и звёздное. И кругом всё молчало. Шум прибоя стал ещё мягче, тише, он долетал до нас слабым, сонным вздохом.